



ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась. Высвободив руки из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но всё-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задрёмывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

— Холодно, тётка? — спросил странник, лёжа на конике.

— Нет, — ответила Марья, — туман. А собаки валяются, — беспременно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватками.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Телёнок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

— Сиротка! Корову-то прогусарили?

— Продали.

— И лошади нету?

— Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда ещё картохи копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусочек в горло не идёт», и Танька всё смотрела на её горло, не понимая, о чём толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку — черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришёл ещё один, ещё чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увёл её во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на неё, заревел во всё горло и Васька... Потом «чёрный» опять вывел со двора лошадь, привязал её к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

«Анчихристы», лошадаики-мещане, были, и правда, свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришёл позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

— Ну, — кричал один, — смотри сюда, получай с богом деньги!

— Не мои они, побереги, полцены брать не приходится, — уклончиво отвечал Корней.

— Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобылёнке боле годов, чем нам с тобой? Молись Богу!

— Что зря толковать, — рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришёл Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые чёрные глаза, форма носа, скулы — всё напоминало в нём эту собачью породу.

— Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошёл к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на неё. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскореича, ехать время, я на выгоне дождю» — и пошёл к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не стоит, — сказал он.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошёл и сделал ленивые глаза.

— Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дёрнул её за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошёл.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

— Долголетня?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдёт, получай одиннадцать жёлтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

— Молись Богу да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней. — Ты без креста, дядя!

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно. — Бабуришься? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Такие, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо...

— Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, — верь совести...

Корней отошёл, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришёл октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы, для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нём палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны — от грозных окриков матери:

— Ты куда? Чичер, холод — а она, на-кося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демонёнок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

— Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на «грубке» печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть тёмным, дрожащим фитилём достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклонённое лицо её было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она «старинные» песни, которые слыхала ещё в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать.

В тёмной избе, заваянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье её молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотую пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у неё будут такие же зори, будет всё, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съёрзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлёбке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и тарачил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебежала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в тёмные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шёпот матери: «Угодники Божии, святителю Никола-милосливый, столп-охранение людей, матушка пресвятая Пятница — молитте Бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капуста», а спокойный насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать.

— Вот домовой-то, — говорил он серьёзно, — всё спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушёл ещё с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде «беда», — полушубков не шьют, больше помирают, — и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селёдки, и даже «вот такой-то кусок» солёного судака батя принёс в тряпочке: «на кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал...» Но когда батя ушёл, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился Богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в поясице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил сигарку. Умытое лицо его было широко, жёлто и плотно, нос вздёрнут, глаза глядели остро и удивлённо.

— Что ж, тётка, — сказал он, — даром солому-то жжёшь, варева не ставишь?

— Что варить-то? — спросила Марья отрывисто.

— Как что? Ай нечего?

— Вот домовой-то... — пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

— Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась.

— Спят, — сказала Марья, села и опустила голову. Странник исподлобья долго глядел на неё и сказал:

— Горевать, тётка, нечего.

Марья молчала.

— Нечего, — повторил странник. — Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни кровя, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам — и ничего себе... Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом — вот что!

— Не ночевал и ты, — вдруг резко ответила Марья, и глаза её заблестели, — с ребяташками с голодными, не слышал, как голоса они во сне с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы ещё

до рассвету обегала — Христом Богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козёл дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко — в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

— Я вон, — продолжала она, всё более волнуясь, — гоню их каждый день на пруд... «Дай капуста, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дёрнула по глазам рукавом, поддала ногой котёнка («У, погибли на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у неё стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съёрзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить, — думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. — Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, лёгкие «козырьки»; меринок шёл в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снега нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть

задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в тёплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти всё состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в своё скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, Егор, — сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задёргал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

— Чтой-то Бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом, — отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Объедены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

— Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

— А кто ж?

— Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

— Я объел, — повторил Павел Антоныч. — Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закусать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

— Чего оскалешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

— А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антоныч.

— Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

— На тебе два, дай мне один. А кнут — он, брат, ремённый — вернись, найди.

— Да он, может... около городу.

— Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошёл назад по дороге.

А Танька благодаря этому ночевала в господском доме.

Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нём тихо звенел самовар.

На лежанке сидела Танька, около неё Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у неё блестели яркими звёздочками, шелковистые беленькие её волосики были причёсаны на косою ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела её. Павел Антоныч остановился.

— Ты чья? — спросил он.

— Корнеева, — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

— Постой, постой, — закричал Павел Антоныч, — я отца видел, гостинчика привёз от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил её в сани и повёз. Дорогой Танька совсем было ушла.

Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левою рукою он захватил её вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ёрзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги её повисли за санными. Павел Антоныч успел подхватить её под мышки и опять начал уговаривать.

Всё теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребёнка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились всё живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для неё играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивлённо: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил её черносливом — Танька сперва не брала — «он чернищий, ну-кошь умрёшь», дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».

Павел Антонович причесал её, подпоясал голубеньким пояском.

Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних тёмных комнатах чётко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у неё роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошёл тихий звук. Танька засмеялась.

— Опять? — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такую добротой, такую старчески-детскою радостью.

— Погоди, — шепнул он, снимая со стены гитару. Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешёл на «Зореньку»:

Заря ль моя зоренька,
Заря ль моя ясная!

Он глядел на задрёмывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поёт вместе с ним песни:

По заре-зарю
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждёт её? Что выйдет из ребёнка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью?

Павел Антонович нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошёл по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, — и везде они томятся от голода!

Павел Антонович всё быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушённых,